


Владимир СОТНИКОВ

«Сотников именно прозаик, упорно пишущий именно прозу в том ее значении, которое разработала русская классика, то есть художественную. Наличие Пруста, Бунина и Набокова в его собственном художественном опыте не настораживает, а лишь обеспечивает дорогу».

Андрей Битов



«Книга Владимира Сотникова представляет собой целое море тонкой, изящной, и глубоко продуманной, и хорошо написанной прозы».

Владимир Маканин

ФОТОГРАФ

Владимир Михайлович Сотников

Фотограф (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=324552

Фотограф: Эксмо; М.; 2010

ISBN 978-5-699-42316-3

Аннотация

Рассказам и повестям этого сборника присуща энергия простоты и ясности. Но простота эта не пятипальцевая, а та, к которой приходят через осознание сложности мира. Охотник, смотритель, фотограф – вот лишь некоторые из человеческих типов, которые привлекают внимание автора.

Содержание

ФОТОГРАФ	4
1	4
2	9
3	16
4	21
5	23
6	27
7	29
8	32
9	37
10	40
11	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Владимир Сотников

Фотограф

ФОТОГРАФ

1

Проснувшись под утро, еще в темноте, Ронин стал ждать проявки оконного пятна и даже привычно шевельнул рукой, будто поддергивал фотобумагу в ванночке.

Вспомнились вчерашняя электричка, звездное небо, сонная переключка собак в неподвижном воздухе. Он и уснул вчера, не раздеваясь, – лишь только разгорелась печка, наполнив комнату жилым теплом.

Медленно наливалось светом окно. На нем уже были видны капли утренней измороси. Они синели, потом подернулись краснотой. Без моего участия, подумал Ронин, без всякого моего участия.

Появлялись тени от предметов, выступали поверхности, словно проснулось внутри них незаметное движение. Такую мягкую фактуру никогда не удавалось остановить во время проявки – на дневном свете фотография всегда менялась, перескакивала в будущее, уже чужая и самостоятельная. Ро-

нин знал эту профессиональную досаду – неузнавание готовых фотографий. Спасала память, хранившая взгляд во время снимка, – но что память? Она-то никогда не проявлялась, оставаясь немой свидетельницей.

Ронин наслаждался виденным, как ребенок, впервые взглянувший в калейдоскоп. Но нет, у ребенка радость резче, озорнее. А тут – старческое спокойное наблюдение. Ронин вдруг вспомнил, словно услышал, вчерашние перестуки колес. Все одно, все одно, – спешили они повторить. Почему он выбрал именно это словесное сопровождение? Ключик к настроению, к уносимому кусочку жизни.

Когда-то он видел такие же половицы, щели между которыми, сужаясь, обрубались стеной. И ножки стола, разделенные линией. Откуда-то память выбирала эти подробности, одну за другой, и вот уже в углу оживает, шевелится воздух. И скользкий звук по полу чего-то жесткого, захватившего за собой и пучок соломы...

Это был теленочек, которого отец внес на руках и осторожно опустил на охапку соломы. И маленький мальчик проснулся вместе с этим звуком, замирая от счастья ожидания. Он услышал вздох и быстрое дыхание, словно несколько раз дунул ветерок в неслышном воздухе. Отец ушел, тихонько притворив дверь. И темнота стала оживать, медленно растворяя тени.

Теленочек еще раз скользнул копытцем по полу и задышал прерывисто, никак не умея найти одинаковый ритм, –

туда-сюда. И мальчик стал так же дышать вместе с ним, стараясь успокоить вдохи. Он осторожно слез с кровати, сделал несколько запретных шагов к углу и протянул руку.

Теленочек лежал полукругом, в вытянутом копытце застряла соломинка. Мальчик тихонько освободил ее, чувствуя легкое сопротивление. Глаза теленка были большие и темные – они угадывались по влажному мерцанию. А между ними – мальчик легонько дотронулся, затаив дыхание, – была твердая влажная ложбинка.

И тут мальчик впервые научился считать – по-своему, прибавляя к себе еще такое же, одинаковое существо. Он совсем недавно стал чувствовать себя отдельно от всего и называть себя – я. При этом ему хотелось оглянуться вокруг, казалось, что это странное короткое название себя – и есть взгляд. Сейчас его стало больше – он удивился новому чувству, которое изнутри все увеличивалось и направлялось к теленку.

Мальчик прислушивался к его дыханию и повторял эти тихие вздохи, боясь их не расслышать, – словно учился по-новому дышать своим новым, двойным существом. Голова теленочка лежала на вытянутой ноге, мальчик вглядывался в его глаза и видел в них отражение своего взгляда, которого раньше никогда не мог заметить. А сейчас, в полумраке, он вдруг увидел его в глазах теленка, в которых отражался и тусклый свет окна, и оживший воздух, и искорки от морозных узоров на окне, за которым светился далекий фонарь.

При дыхании приподнимался бок теленочка, и над ним дрожал воздух. Мальчик принес свою простынку и накрыл теленочка. Потом вернулся к кровати, нырнул под одеяло и стал смотреть, как отчетливо выделялась в темноте белая простынка.

И вдруг мальчику стало страшно. Так тревожно выглядело это белое пятно – и что-то нарушено стало в комнате, будто потерялся, исчез взгляд. Белое пятно заслонило собой все, что видел и чувствовал мальчик – и в себе, и в комнате.

Стукнула в сенях дверь, вошли отец с матерью. Мальчик закрыл глаза, и странное чувство, будто он что-то утерять, прорвалось в нем с плачем. Он не мог открыть глаза и плакал, слыша, как родители встревоженно бросились к нему, и что-то спрашивали друг друга о простыне, и смеялись, а он все вздрагивал всем телом от непонятной, невыходящей тревоги.

Надо же, подумал Ронин. Сколько раз пытался пробиться к своему первому воспоминанию – и всегда думал об окне, за которым навсегда застыла сухая ветка яблони. И никогда не вспоминал этого теленочка. А вот стоило совпасть теням, линиям половиц, взгляду... Неужели это был он?

Как похожи воспоминания на фотографии, думал Ронин, растапливая печку. Память дополняется собственным опытом – и от этого никуда не денешься. Вспомнив себя маленьким мальчиком, Ронин только сейчас понял, что его испугало тогда. Исчезновение чувства под белым пятном просты-

ни.

Огонь в печи почти не шевелился. Казалось, не Ронин смотрел на пламя, а оно наблюдало за неподвижным взглядом человека. Он закрыл дверцу. В тесноте пламя взметнулось и загудело. Ронин улыбнулся. Он понял, что и эту закрытую дверцу печки сравнил с фотографией. Неподвижная и непроницаемая, она закрыла собой внутреннюю жизнь – гудящее и рвущееся вверх пламя.

2

– У него профессиональная болезнь, – говорила Анна. – Какая-то детская, наивная болезнь. Понимаете, он считает, что фотография не объясняет жизнь, а, наоборот, скрывает ее.

Анна дотрагивалась до плеча Ронина – чтобы он почувствовал, что она не укоряет его, а защищает.

Они были в гостях – Анна уговорила его пойти на юбилей к дирижеру оркестра, в котором она работала. Ронин с первых минут почувствовал себя уютно среди незнакомых людей, словно на самом деле оказался внутри небольшого оркестра, в котором каждый человек вел свою партию, не мешая другим. Уже была «сыграна» первая, официальная, часть – с поздравлениями, тостами, – и теперь возникали за столом отдельные островки бесед. Одним из таких островков были Ронин, Анна и подсевший к ним хозяин дома. Оказывается, он помнил прошлогоднюю выставку Ронина.

– Я ведь в молодости баловался фотографией. Чуть не сказал – тоже, – улыбнулся дирижер. – Но потом, с годами, начал задумываться. Даже написал статью о фотографии под забавным названием «Повторение непройденного» – в стиле юного журналиста, да? И как пластинку заело, а передвинуть иглу уже не хватило усилий, времени. Когда пластинка заедает, ее лучше выключить, да? Я и выключил. Мне не

хватило душевного равновесия, спокойствия. В музыке я его находил, а фотография, наоборот, это спокойствие у меня отнимала.

– Я когда-то не услышал именно таких слов, – просто и искренне сказал Ронин. Ему как раз и хотелось, чтобы профессор почувствовал его искренность. – Иногда очень важно вовремя кого-то услышать...

– Ну что вы, – засмеялся дирижер, – вам повезло. Вы проскочили полосу сомнений. В любом деле это важно. Глаза боятся, а руки делают. Задумайся я о музыке – так и остановился бы с поднятой палочкой... А вот ничего – канаю под дирижера. Вот первая скрипка, – он поднял руку в сторону Анны, словно держал палочку, – свидетель.

«Одной любви музыка уступает», – подумал Ронин с улыбкой.

– Знаете, – сказал он, – я, наверное, завидую людям искусства. Музыкантам, художникам. Кажется, что иногда как раз не хватает их способности увидеть, услышать...

– Поверьте, среди них многие так же относятся к фотографии! О, это искусство возврата, размышлений... Сомнений, да? Мы делаем каждый свое дело, как умеем. Да, завидуя друг другу. А как же иначе? Нет абсолютного искусства. А хотелось бы, да?

Тут Анна и сказала о профессиональной болезни Ронина, дотронувшись до его плеча. Ронин даже поморщился, как раненый, у которого проверяют повязку, и это не ускольз-

нуло от взгляда профессора, который был опытным, старым человеком. Это Ронин понял по его словам:

– Однажды меня спросили: а что такое настоящее искусство? Смешной вопрос, да? Я растерялся на минуту. Но, в общем-то, нормальный вопрос. Надо отвечать. Я отвечаю – музыкой, хотя, скорее, это попытки ответов. Вот вы говорите – болезнь. Фотографии закрывают жизнь. Но это так похоже на то, как я не понимаю следующего за моим взмахом звука... Было сомнение, которое вдруг взорвалось единственным разрешением – и сомнения как бы отступают, да? Знаете, еще был один момент, который запретил мне заниматься фотографией. Я стоял в очереди, и передо мной у кассы женщина раскрыла кошелек. Там были фотографии – наверное, ее близких. Мальчик стоит у дерева, девочка с куклой... Я бы сам хотел так снять, чтобы в суете, в подвижности жизни, вдруг кто-то обратил внимание на других... Тот же взмах палочки. Нет, что вы – снимки в своих остановках дарят порой такие открытия...

Ронин смотрел на фотографию на стене – окно старого деревенского дома. Снимок был сделан с помощью простейшей техники, заключающейся в предварительной подсветке бумаги. От этого тени были гуще, насыщеннее, словно снимали в вечернее время. Казалось, дрожало стекло, и был какой-то вопрос изнутри – о памяти, о будущей жизни...

– Это ваш последний снимок? – спросил Ронин. И оказался прав.

– Да, на нем я и споткнулся... Остановился. Мне показалось, жизнь вдруг уменьшилась, а сюда, – профессор показал на снимок, – переместилась, прямо-таки переметнулась память, мои чувства. Это было невыносимо. Если бы я был профессионалом, может, и обрадовался бы новому ощущению от своей работы, а так – испугался. Стал бояться, что буду подолгу вглядываться в свои фотографии, искать в них навсегда пропущенное, забытое... И главное – я забывал о музыке, о своих чувствах – только память оставалась гудеть во мне, как, знаете, настраиваемый оркестр. Невыносимо, да.

Ронин слушал, словно сам говорил эти слова.

Память, как вскипающая вода, невыносимость чувства, с которым смотришь на застывшее изображение. Нет, не застывшее. Это мерцание, обман зрения и чувства, но так же мерцают и звезды, хотя ты знаешь при этом о неподвижности и мертвенности. Знаешь, но не веришь. Мерцают, вспыхивают огоньки памяти, дрожат предметы. Нет остановки. Почему возникает это слово – невыносимо? Потому что бесконечно. А хочется окончательности, остановки, отдыха.

Профессора отвлекли – пригласили за противоположный конец стола. Ушла и Анна. А Ронин остался сидеть в одиночестве, глядя на фотографию. Он почему-то вспоминал те редкие посещения музея или зала консерватории, когда радовался совпадению собственного чувства с увиденным и услышанным. Увиденная картина всегда оказывалась един-

ственной, которую он запоминал на многие дни, и в музыке прорывалась одна минута, надолго остававшаяся во внутреннем звучании. «Нашел», – называл Ронин свое ощущение, будто и отправлялся в музей или консерваторию именно на поиски чувств.

И сейчас, глядя на фотографию, он произнес это слово. Нашел. Будто нашел свою же фотографию, забытую в старых папках на высоких полках. Надо же, думал он, как все просто. Оказывается, его душа проста, как обыкновенный радиоприемник. Достаточно покрутить ручку настройки, и можно уловить из бесконечных волн одну-единственную – свою. Он так и снимает – в поисках совпадения.

– Чем вас так привлек мой шедевр? – Улыбаясь, профессор опять подсел к Ронину. – Признаться, я сам уже ничего не вижу на этой забытой фотографии. Привык.

– Совпадение. Бывают странные совпадения. – Ронину вдруг захотелось объяснить свой интерес к простому, в сущности, снимку так же просто, будто он выбросил игральные кости и должен назвать выпавшее число – и ничего больше. – Мне кажется, я хотел бы снять именно так. И это был бы мой самый важный снимок. Я не знаю, с чем это сравнить – с каким-то, наверное, собственным почерком взмаха дирижерской палочки, что ли. Я думаю, что каждый человек ищет свой собственный ключ к привычным, в сущности, чувствам. Какой-то один и тот же сон, один взгляд, или вот – снимок. С этим ключом можно жить – им открываются все

остальные двери, да?

– О, да вы сороконожка! – рассмеялся профессор. – Вы хотите понять, как движется одна из ваших ног, – и споткнетесь, обязательно споткнетесь, как только поймете нехитрый механизм движения. Нет ответа именно на самые простые вопросы – вот в чем штука! Я их избегаю, этих вопросов, да. Глаза боятся, а руки делают. Ну что в этом снимке? Совпадение, воспоминание? Надо идти дальше, вперед! Иначе... Да что я вместе с вами застыл на месте... Знаете что, – вдруг спохватился профессор. – Я вам подарю этот снимок. И не отказывайтесь. Будете смотреть и вспоминать наш смешной разговор.

– Это не то, не то... – задумчиво произнес Ронин и улыбнулся. – Да, действительно, смешно. Вы правы. А про сороконожку говорят все учителя своим ученикам. И я буду говорить, вспоминая свою молодость. Конечно, вперед. Конечно.

Он не заметил, как профессор кивнул Анне, почувствовал лишь, что Анна положила ему руку на плечо.

Они скоро ушли. Ронин нес рамку со снимком. Почему-то ему было приятно уходить, словно он наконец вырвался на свободу.

– Не умею я себя вести в приличном обществе, – пошутил он на улице. – Обычный вечер, а я заполнил собой все пространство...

– Ну что ты, – сказала Анна. – Тебе так кажется. Потому что все свое носишь с собой. Как улитка свой домик.

Ронин усмехнулся:

– И даже чужое прихватил. – Он говорил о снимке.

Знакомое ощущение появилось в нем. Как в детстве, когда он украл в гостях, не удержавшись, маленькую железную коробочку. Он позволил, именно позволил себе переступить внутренний запрет. Высыпал чьи-то ненужные пуговицы и монетки в аккуратную кучку на стол, пока шумело взрослое застолье в большой комнате, и с затаенным, преступным счастьем знал, что он занял себя переходом в завтрашний день. Эта коробочка, как волшебный клубочек, тянула его в завтра, обещая уже сейчас будущее чувство разочарования и раскаяния.

По дороге домой, под редкими фонарями, держась одной рукой за руку отца, а другой нащупывая в кармане коробочку, маленький Ронин удивлялся тому, как какое-то незначительное, казалось бы, событие может уже захватить собой будущее время.

Тогда он по-детски и объяснил жизнь как выбор какого-нибудь поступка и долгое его повторение в чувствах. Между поступками и их повторениями была пустота, а сами они и были той жизнью, которую видел и знал маленький Ронин. Он словно останавливал жизнь в событиях и долго ее рассматривал. Время он воспринимал как ожидание перед следующим рассматриванием, задумчивостью.

3

Вот еще одну фотографию посмотрел, подумал Ронин об этом детском воспоминании. Чем дальше он возвращался в прожитую жизнь, тем больше ему казалось, что воспоминаний не так и много. Самых первых. И дотянуться до них было не так просто. Первые воспоминания не вызывались никакими усилиями памяти, а вспыхивали сами по себе, словно попадались под руку самые первые, уже пожелтевшие от времени фотографии. Но это случалось не часто.

А что было потом, всю жизнь, подумал Ронин, выйдя из дома, оглянувшись вокруг, повторения. Повторения первых чувств. Да по-другому и быть не могло.

И вот эту ель, закрывшую полдома, – тоже он видел в начале своей жизни, и желтый лист лежал уже когда-то, подрагивая на весу, на чужой хвойной ветке.

И такое же окно, которое сейчас смотрит вслед, Ронин снимал первым фотоаппаратом, стараясь поймать свой собственный взгляд, – из дома на улицу. Потому что еще раньше, совсем маленьким ребенком, он целыми днями простаивал у окна.

Фотография, которую ему подарил старый музыкант, и заставила Ронина поехать в деревню. Словно он понял наконец, в чем сейчас его беспокойство. Фотография стены дома с одиноким окном вызвала одно из первых воспоминаний, и

он ринулся к началу, чтобы собрать, найти в памяти первые чувства.

После того вечера, когда они с Анной ходили к музыканту, Ронину стало казаться, что в его архиве – многочисленных папках – исчезли несколько фотографий. Изодня в день он переглядывал старые снимки и не мог найти то, что, казалось, видел перед глазами. Он даже не понимал, что это были не снимки, а его взгляд, предшествующий им.

Воспоминания взорвали прошлую жизнь. Они стали множиться в бесконечном выборе единственных изначальных изображений, будто кто-то неустанно требовал и требовал правды.

Это было похоже на повторение молитвы, слова которой исчезали. Слова растворялись, находя свой невидимый обратный путь.

И когда казалось, что он наконец видит не снимок памяти, а настоящее закатное небо и последнюю каплю красного солнца, скользнувшую за горизонт, – видение исчезало, мгновенно возвращаясь на свое место во времени.

Ронин чувствовал это с самого начала, с детства. Ребенком он испытывал страх при воспоминании своих снов, подробностей вчерашних дней. Он боялся, что прошлое исчезает навсегда.

Ему купили фотоаппарат в десять лет. Когда отец вытащил из проявочного бачка первую пленку и посмотрел на свет – засмеялся. Все кадры были одинаковыми. Дом, сня-

тый Рониным с одного места – от речки. Он стоял там и щелкал – через минуту, через десять, через полчаса, пока не кончилась пленка.

Это было первым потрясением, связавшим для него фотографию с памятью. Дом умножился на бесконечных кадрах, но то ощущение, с которым Ронин нажимал на кнопку затвора, стоя у речки, исчезло. Можно было только услышать слабое журчание воды где-то рядом, стоило только закрыть глаза.

Отец, улыбаясь, объяснял, что не надо изводить всю пленку на один и тот же кадр. Так много вокруг всего интересного. Ронин слушал и думал, что это объяснение – такое же повторение. Того, что и сам знаешь. Он понимал, что не найдет слов для оправдания, хотя внутри него пыталась соединиться в слова ясная мысль о том, что между этими кадрами проходило время – хоть небольшое, но осязаемое. И сейчас, глядя на пленку, он чувствовал это время в черточках, деливших кадры.

Вечером, поддавшись на нетерпеливые уговоры, отец напечатал десяток фотографий с этой пленки. Ронин вглядывался в ванночку.

– Был ветер, – сказал он. – Видишь, как по-разному застыли деревья.

– Так и сказал бы, что ты снимал ветер, – пошутил отец. – А вот это, наверное, птица, – показал он на увеличенную царапину.

Фотографии были разными – Ронин это замечал и по небу над домом. Облака не стояли на месте.

Почему-то его тянуло снимать неподвижные предметы. Окно, например. На каждой пленке было это окно. Как ответ на детский взгляд изнутри дома. Когда Ронин был совсем маленьким, часто болел. Он часами наблюдал через это окно застывший внешний мир – яблоню, забор, луг, лес. И ему казалось, что неподвижные предметы вместе с ним переживали длительность времени. В такие минуты он забывал о себе, растворяясь в видимом пространстве, и чувствовал только странный шум времени, тишины – этот нескончаемый звук переходил через стекло и прижатую к нему ладонь.

Он снимал скамейку у забора с прозрачным силуэтом когда-то сидевшего на ней человека, старую покосившуюся баню под вербами, гнездо ласточек под коньком крыши – словно возвращая обратно те чувства, которые были раньше собраны по крупицам его взглядом. В коротком щелканьи затвора было какое-то тревожное завершение, граница прошлой жизни, и Ронин волновался, со страхом предчувствуя несовпадение будущей фотографии с отставшим уже навсегда чувством увиденного.

Он уже умел сам печатать – отец иногда заходил в темную комнату, рассматривал в ванночке фотографии.

– А это что? – часто не узнавал он.

– Вода в колодце. Видишь, не получилось – только серый квадратик...

– А ты недодержи, – говорил отец, и они вдвоем пытались выжать из светлого негатива, который давал на бумаге сплошную черноту, хоть какие-то искорки.

А однажды – как-то не было пленки – Ронин не удержался, снимал пустым фотоаппаратом. Он почти не почувствовал разницы! И потом заметил, что и без аппарата может «снимать», взглядом примеряясь к будущему несовпадению, двойному чувству. Вот – реальность, и вот – остановка, сдвиг, замирание... Это открытие странно испугало его – он не хотел продолжать в себе эту возможность наблюдать мгновенные остановки времени. И даже пытался отворачиваться, если взгляд его застывал вдруг в неподвижности.

Как же я жил, думал Ронин, и куда поместилась вся эта жизнь, если теперь так хочется вернуться только к началу? Неужели и не было ничего настоящего, а только копилась усталость?

Он перешел небольшую рощицу, перед которой и стоял его дом. И как не любил он все эти три года так называемую дачу – или в самом этом слове таилась чужеродность? Какая еще дача, если он вырос в деревенском доме и никак не мог примерить на себя другой такой же, пусть и похожий! А тут вдруг спохватился, полетел за далекими первыми чувствами – и ведь появились же, нашел он их! И во всем «виноват» старый профессор, подаривший обыкновенный снимок окна в бревенчатой стене.

Возраст, подумал Ронин. И больше ничего. Всю жизнь спешил, а сейчас остановился и стал оглядываться – как можно дальше. И взгляд дотянулся до детства.

Простота и ясность в мыслях Ронина была такая, будто его усадили за маленькую парту и опять начали учить читать. Все уже знаешь, но как приятно по-новому сложить слово! И казалось, что все книги он сейчас читал бы совсем по-другому. Медленно, наслаждаясь каждым словом.

Это старость, повторил он. И хорошо, что никого нет рядом, что никто не отговаривает его от этих мыслей. Сладост-

ных, как первые воспоминания.

А ведь нашел же он сейчас тот путь, который соединил всю жизнь слабой, но неразрывной нитью! Ронин смотрел на березы, подернутые первой желтизной, и знал, что сейчас вспомнит, когда увидел и запомнил он их такими впервые...

Он вспомнил запах волос, единственный запах, волновавший потом его всю жизнь.

Под такими же березами он возвращался из школы. И не шел, а был растворен в этом ветре.

Одна маленькая береза стояла отдельно, у самой дороги. Мальчик подошел к ней, и ветки коснулись его лица. Как будто кто освободил его слезы – и мальчик заплакал, вздрагивая всем телом. Он дотронулся до ствола, и ладонь вздрогнула.

Почему все главное в этой жизни непонятно и неожиданно, думал мальчик, но не словами, а, наверное, слезами, которые оживлялись при каждом его новом вздохе – как кровь из ранки.

В школе после уроков он бегал вместе со всеми по двору. И вдруг заметил, что игра изменилась. Куда-то исчез мяч, но детская толпа все равно не останавливалась, а перекатывалась из конца в конец двора. Все ребята кричали, будто догоняли какого-то зверька. Маленький Ронин бегал в самом конце толпы и не сразу понял, кого же они преследуют. Это оказался небольшой, еще меньше Ронина, мальчик, сидевший на уроках перед ним на первой парте. Мальчик был нездешним – совсем недавно он приехал в деревню с родителями и пришел в их первый класс. Он был непохож на всех, и эта непохожесть была во всем: и в бледности лица, и в курчавости черных волос, и в заикании. Мальчик не понимал,

чего от него хотят, на бегу он испуганно оглядывался и ожидал, наверное, что сейчас продолжится игра в мяч. Но в него бросали и бросали репейники, стегали огромными листьями лопухов и все чаще кричали одно и то же слово «дубоясь». Ронин понял, что это слово означало «ни то ни се», точнее даже – бесполезность, никому не нужность. Удивляясь этой мгновенно придуманной кличке, Ронин испугался почему-то ее непривычного звучания. Так не шло это слово испуганному мальчику, и он словно уклонялся не от репейников и ударов, а от этих криков.

Почувствовав, что кличка попала в цель, все громче и громче, перекрикивая друг друга, бросали это слово в спину убегающему. Он уже забился куда-то в угол около школьного крыльца и понял, что прорвать кольцо преследователей больше не удастся. И закрыл лицо руками, вздрагивая всем телом.

Ронин смотрел на кричащие рты. Ему было так страшно, что он хотел тоже вырваться куда-то, убежать, но не мог отделиться от толпы. Он не понял, как в его руке оказался камень и камень этот полетел в окно. Стекло взорвалось, медленно стали сыпаться вниз осколки. И стало тихо. Быстро опустело вокруг. Все разбежались. Остались только Ронин с мальчиком.

На крыльце стояла учительница. Она позвала их и повела в класс. И мальчик вдруг схватил свой портфель и убежал, оттолкнув учительницу, а Ронин остался.

Он ничего не мог сказать. Словно плач того мальчика передан ему и пока еще сидел комком внутри. Учительница погладила его по голове и сказала:

– Ты их испугал, да?

И плач прорвался наружу. Ронин выдыхал сквозь всхлипы:

– Я не хотел, я не хотел...

Учительница притянула его к себе:

– Успокойся, успокойся, ничего страшного, ну что ты...

– Зачем они так, зачем?.. – все повторял Ронин.

Она вдруг наклонилась к нему, вытерла слезы и поцеловала в мокрые щеки. Один раз и второй.

Ронин почему-то подумал, что так начинают заикаться. Все в нем замерло, как в страхе. И хотелось, чтобы учительница еще раз наклонилась и поцеловала – такой неожиданный был запах ее волос, и он вдыхал и выдыхал воздух, боясь, что сразу же забудет его.

В класс вошел директор, и учительница начала с ним разговаривать, все еще глядя Ронина по голове. Но он вдруг вырвался и убежал – так же, как и тот мальчик.

Он стоял у березы, вдыхая в себя ветер, и плакал, не боясь, что его кто-то увидит. И еще странное желание было в нем – превратиться в такое же дерево и стоять рядом с березой. Он даже покачивался, будто задевал несуществующими своими ветками невесомые листья березы.

Он долго шел домой, а когда вернулся, за столом рядом

с матерью сидела учительница. Они улыбнулись ему и стали говорить тише, почти шепотом. А Ронин шмыгнул в другую комнату и притаился там. Он смотрел на учительницу в зеркало.

Ронин видел, как учительница улыбалась и кивала. Пряди волос ее покачивались у щеки. И Ронин помнил их запах.

Когда его позвали, он вздрогнул. И, не понимая, что делает, быстро вылез в окно.

Через много лет, обняв на прощание в первый вечер Анну, Ронин задохнулся от найденного запаха. Перед глазами у него качнулась далекая, прилетевшая из детства ветка березы.

Он удивился тому, что может думать в эту минуту. Думать о том, что в его жизни свершилось повторение. В окружающем мире, к которому он привык, как к чужому, вдруг нашлось родное чувство. Прорвалось к нему. Ронин затаился, боясь его спугнуть.

– Что ты? – Анна погладила его по голове.

Ронин обнял ее еще раз и даже улыбнулся – нет, не показалось. Все осталось на своих местах. Как на старой фотографии, вдруг подарившей забытое воспоминание – оно уже не изменится никогда. Уже не смотришь на снимок, а вслушиваешься в себя.

– Меня когда-то так же погладила первая учительница. И поцеловала, – сказал он, не обращая внимания на то, что слова совсем не содержат того, что он хотел сказать. – Я тогда удивился, что, кроме всего привычного, родного, кроме своих чувств, есть еще и чужие, которые мгновенно становятся своими. Тогда я испугался.

– И сейчас? – тихо спросила Анна.

– Да, наверное. Все так неожиданно... И я все чувствую,

удивляюсь, говорю об этом. Ведь об этом нельзя...

– Ты странный, – сказала Анна. – На выставке мне показалось, что вся твоя жизнь, как мозаика, состоит из этих фотографий. Каждый снимок – как отдельный взгляд, отдельная мысль. А сейчас вспоминаю эти снимки на белой стене... И мне кажется, что все твои чувства – не в снимках, не в этих черных островках, а между ними. Да?

Ронин был поражен ее догадкой.

– Да, между ними... Ведь фотографии на самом деле закрывают собой жизнь. Останавливают и – закрывают. И возможны только воспоминания. Фотография – искусство странное, даже какое-то страшное.

Он привел Анну домой и чувствовал себя так, будто сам впервые вошел в эту квартиру с разбросанными на столе старыми фотографиями. И он рассказывал о своей жизни, будто фотографии были закладками в ней, как в книге. Эти закладки выпадали из рук, ненужные, обратно на стол.

Ронин ходил на ее концерты. Слушая музыку, глядя на Анну, он чувствовал, что они с ней – одно существо. Один и тот же человек играл на скрипке и слушал музыку. И где-то внутри, как натянутая паутинка, в этом человеке было лишь видимое расстояние: между сидящим в зале Рониным и на сцене – Анной.

Он смотрел на ее легкий смычок, завораживающе скользкий, и думал, что музыка была поводом, причиной, ширмой, за которой таились все чувства. И он замечал то неуловимое мгновение, когда звук только начинался.

По дороге домой Ронин много говорил и вскоре стал замечать, что утомляет Анну непонятностью своих слов. Нужна была простота, а он запутывался, стараясь говорить яснее. Рассказывал о своих планах, о бесконечной погоне за одним долгожданным снимком, который наконец будет двойным, звучащим, медленным – он по-разному его называл, желая передать словами продолжительность его во времени. Не остановку, не стоп-кадр. Конечно, нет. Он много думал, многое понял, знает, как нужно снять.

Ронин не жалел пленки, когда снимал Анну во время ее занятий дома. Мешал ей, долго устанавливая свет, иногда снимал тайком – в открытую дверь. На фотографиях высвечивал только смычок, гриф, локон волос или тусклый

отблеск скрипки. Этих фотографий были уже сотни. Анна уставала от них. Ронин снимал и оркестр – и даже выставка, которой он не был доволен, устроилась в фойе консерватории – так она и называлась – «Репетиция оркестра».

Чем больше он заполнял видимое пространство этими фотографиями, тем больше чувствовал, что они застывают, медленно останавливаются, как след за реактивным самолетом. В каждом новом снимке Ронин заранее представлял все – и тени, и основное тусклое пятно света, которое почему-то блуждало по снимку, как слепое пятно зрения. Они были внешне разными, эти снимки. Но одинаковым было достижение того настроения, которое Ронин не мог перешагнуть, пересилить внутри себя. Странно – он злился на себя за то, что и явного провала у него не случилось даже в самых, казалось бы, тиражных снимках! В каждом из них таилась капля меткости, схваченности – остановки...

Это уже была полноценная мозаика, о которой когда-то говорила Анна, – и между кадрами оставалось все меньше и меньше свободного места. А Ронин не мог остановиться. Иногда странная мысль приходила ему в голову. Получалось, что его цель таилась где-то в том кадре, в котором человеческому взгляду уже нельзя будет различить ни одной поверхности, ни одной тени. Темный зал, темная комната – темнота, в которой готовился, должен был появиться первый звук. Он отмахивался от таких мыслей. Недостижимо, говорил он сам себе. Недостижимо показать то, что видишь

только один. Слышишь один. Точнее, собираешься, хочешь услышать, увидеть, почувствовать. Ширма, черная бархатная ширма, как в затворе фотоаппарата, скрывает собственные чувства, превращая тебя в аппарат. Он работает всегда, неостановимо – и ты меняешь только выдержку, на мгновение задержав прикрытыми глаза.

– Ты устал, – говорила ему Анна. – Ты устал в своей бешеной гонке. Это какая-то погоня. Или, если хочешь, ловля своего хвоста. Была выставка, хватит. Придумай что-нибудь другое. Съезди куда-нибудь. Давай вместе. Хочешь?

Они улетели в Крым – на три дня.

Дымка висела над морем и горами. Ронин смотрел на нее и чувствовал, что впервые за всю жизнь взгляд его растворился, потеряв направление – ту прямую линию, по которой всегда выискивал цель.

Однажды они заплыли далеко, и Ронин махнул Анне рукой – возвращайся, а сам все плыл дальше. Вода была спокойной, в дымке исчез горизонт, и даже берег едва виднелся. Ронин все плыл.

Он вдруг почувствовал себя совершенно одиноким посреди воды, белого неба над головой и не хотел ничем вытеснить из себя это чувство. Вдруг показалось, что это ощущение одиночества – единственное, которое обнаруживалось в нем само собой, без поисков и размышлений. И напрасно он так его избегал все время.

Ронин вспомнил, как снимал Анну, музыкантов и, как он думал, музыку. Все эти кадры показались ему иллюстрациями из чужого альбома. Его научили снимать, потом он еще и сам научился и снимал, как надо. Как положено. Ничего при этом не найдя своего, не сделав ни одного собственного открытия.

И так вся жизнь, подумал Ронин, вся жизнь нанизана на чужой стержень, как на мастерство, которому не так трудно научиться. Ничего не осталось настоящего, кроме пер-

вых воспоминаний, кроме первых фотографий памяти. Вся жизнь оказалась только повторениями первых чувств.

Он вспомнил себя маленьким мальчиком, стоящим у окна – начало всей видимой жизни. Профессорский снимок стены дома с окном всплыл сам собой в памяти. Собственного взгляда в нем не было. Как ни старался Ронин совместить эти воспоминания, мальчик оставался одиноким – таким же, как Ронин сейчас посреди бесконечной воды.

Зажмурившись, он нырнул. Вода плотно обхватила его, темнота стала непроницаемой, как ширма. «Нельзя, нельзя», – подумал он и рванулся вверх. Какое-то незнакомое, впервые пришедшее к нему предчувствие кольнуло в груди.

На берегу он прополз по гальке и рухнул рядом с Анной. Она дотронулась до его головы:

– Я испугалась.

– Там хорошо, – тяжело выдохнул Ронин.

– Там хорошо, где нас нет? – пошутила Анна.

И Ронин улыбнулся тоже. Он устал, словно пришел с какой-то непосильной дистанции. В выборе которой ошибся.

Анна прильнула к нему. Ее волосы пахли морем и теми пожухлыми травами, среди которых они бродили по склонам прибрежных холмов. Ронин прислушался к этому запаху, словно к тихой музыке, в которой старался вспомнить ее первый звук, начало. Он хотел связать воедино воспоминания – локон учительницы, шевельнувшийся перед самыми глазами, запах волос Анны в первый вечер – и слышать

их сквозь запах моря и травы.

Он хотел, чтобы вся его жизнь так просто и ясно вдруг растеклась обратно во времени, по этим воспоминаниям, и стала одной бесконечной и непрерывной. Но этого маленького чуда не произошло.

Ронину показалось, что он рассматривает фотографии, сделанные им в разное время жизни. Тысячи раз он так же перебирал снимки, и эта профессиональная привычка сработала и сейчас. Раз, два, три, подумал он словами про себя. Раз, два, три. Черная шторка, ширмочка затвора делала свое дело. Свое черное дело. Жизнь разбилась на осколки, на снимки, стала прерывистой. Почему-то Ронин вспомнил странное слово, которое услышал в школе на уроке физики, – дискретная. Это означало – пульсирующая, не связанная одной линией. Одним взглядом.

– Еще одно проявление профессиональной болезни, – проговорил он вслух.

– Ты опять думаешь свои глупые мысли, – улыбнулась Анна и погладила его по голове. Как всегда. Будто снимала своей рукой эти самые мысли.

– Хорошо, что я не взял аппарата, – сказал Ронин. – Я все равно не притронулся бы к нему.

На набережной Анна, смеясь, уговорила его сняться у фотографа, который караулил отдыхающих у своей треноги. Ронин не выдержал зрачка камеры и отвернулся.

– Ревнуешь, ревнуешь, – засмеялась Анна.

Назавтра фотограф извинился, что снимок не получился, и попросил их попозировать еще раз. Ронин отказался, и Анна обиделась.

– Ну это уже какие-то глупые капризы.

Ронин отошел в сторону, сел в открытом кафе за столик. Он видел краем глаза, как Анна улыбнулась и что-то шепнула фотографу. Потом подошла к нему. Они молча сидели и пили вино, а фотограф, наверное, снимал их издалека.

Один раз он пожалел все-таки, что не может сфотографировать Анну. Утром она вышла на балкон, и волосы ее развевались, как ветки акации, что шумела рядом под ветром. Вдалеке виднелась гора – как профиль человека, глядящего вверх. Ронин улыбнулся, словно спохватившись, – такие снимки делают новички, считая их большой удачей. Самое время и ему начать все сначала, не так ли, грустно подумал он. Может быть, новая дорожка поведет его по непрерывной линии?

Анна обрадовалась, увидев на его лице улыбку:

– Наконец-то я вижу тебя с самого утра в хорошем настроении. Как жалко, что надо уезжать.

– Ты прямо просишься на обложку журнала. И я бы получил за тебя уйму денег.

– Знаем мы эти журналы, – погрозила Анна кулачком. – Дежа ню.

Они весь последний день и шутили так же, старались остеречь по любому поводу, до усталости. Ронин даже удивлял-

ся, какой приятной может быть жизнь, если забыть о себе на время. Хотя бы на время.

Однажды, встречая Анну после концерта, он из-за какой-то странной шаловливости спрятался за памятником Чайковскому и стоял так долго, как заколдованный. Анна вышла с профессором, долго оглядывалась по сторонам и потом села в машину.

Ронин вернулся домой. Анны не было. Он сначала ждал звяканья ключа, потом телефонного звонка. Поздно ночью открыл холодильник и допил полбутылки водки. Анна так и не пришла. Назавтра она позвонила и сказала, что ночевала у подруги.

И вечером опять Ронин спрятался. Анна уже сразу села в машину к профессору.

«Как все просто», – думал Ронин, бродя по ночным улицам.

Перед домом он купил водки и начал пить ее на кухне, даже не раздевшись. Он хотел быстрее испытать какое-нибудь сильное чувство наподобие потрясения, отчаяния, но оно ему не давалось. Как не давалось опьянение. «Как все просто», – гудела в голове глупая мысль.

Остатки водки он хотел выплеснуть в раковину, но подумал – ведь будет еще завтрашний день. Такой же. Пусть водка пока останется.

Ведь я выпал из жизни, а меня это даже не тревожит, ду-

мал он, засыпая. Меня обманули, и я должен был впасть в отчаяние – почему же я спокоен? Может, я и не любил, не чувствовал по-настоящему, как все? Живу своей маленькой, достаточной для меня жизнью, и большего мне не нужно? Остался ребенком... Который знает, что есть внешняя, другая жизнь, в которую его не пускают, да и он сам туда не прося, не лезет... И Ронин почему-то вспоминал того мальчика, за которым гонялась толпа на школьном дворе.

Ронин уже не ходил к консерватории. Днем звонила Анна, спрашивала, почему он ее не встречает, и в ее голосе была обида. Так ему казалось. Он молчал, а в последний раз ответил, что больше не придет. Анна не удивилась – так он понял. И положил трубку.

Куда деть себя, Ронин не знал. Водку пить он больше не мог, телефон отключил. И вот появилась эта спасительная мысль о поездке в деревню. Простая, как желание выйти прогуляться.

Одиночество захлестнуло его. Даже не захлестнуло, а раскинулось перед ним, лежало, как готовая петля на столе. Дальнейшее требовало действий – а это уже была та самая внешняя жизнь, чужая или скопированная с какого-то знания о ней. Ронину казалось, что он исчез, исчезли его чувства, и он соглашался с таким состоянием – жить внутри своей тонкой скорлупы, не соприкасаясь с внешним миром. Он даже испытывал чувство облегчения, как после детского плача – наконец-то стал свободен, выплакался, вычувство-

вался, измаялся душой. Казалось, он остался один в зале, в котором недавно была его выставка, – посреди голых стен, наедине со своими чувствами. Все лишнее, оказывается, исчезло. Одиночество, наполнившее душу, – вот, оказывается, к чему он стремился всю жизнь?

Лишь жажда воспоминаний мучила его. Он прорывался к ним сквозь снимки, мельтешащие перед глазами, – прорывался к себе настоящему. Эти снимки, остановки прежней жизни, мешали, как мешало и все, чем он напоминал окружающих людей. Он жил, как все? Нет. Высказывался, учился, ходил на работу? Нет. Ронину это казалось. Всю жизнь он плел кокон, окружал им свою душу и прятался там, как тот мальчик, за которым гонялись его сверстники, почувствовав, что он – «ни то ни се» – «дубоясь». Не похожее ни на кого создание, после своего рождения помогающее только своему отличию от внешнего мира. Как хорошо, что у него нет никакого таланта – что бы он с ним делал? Доказывал его, выставлял напоказ?

Но тут Ронин запутывался. Какой талант? Он даже не представляет, что это такое. Бог с ним, с талантом, – Ронин остается сам по себе, и этот возврат к себе становится все яснее...

Одиночество, которое он ощущал в городе, в деревне превратилось в свободу. Ронин даже удивлялся – почему это он раньше так редко приезжал сюда? Он выходил из дома и шел куда глаза глядят – лесами, полями, переходя какие-то речушки по старым мосткам, бесцельно оглядываясь по сторонам и улыбаясь непонятному счастью. Он не спешил – некуда было спешить, ни о чем не думал – потому что не слышал внутренних вопросов, смотрел вокруг спокойно и ясно – потому что не было никакой цели что-то заметить, чем-то восхититься, остановить взглядом какой-нибудь особенно привлекательный вид. «Слился с природой», – иногда он все же посмеивался над собой, но понимал, что это правда. И незачем говорить самому себе глупые фразы.

На этот раз Ронин забрел так далеко, что заблудился. И это только позабавило его. Он понял, что уже почти не привязан ни к какому месту на земле и стал как перекаати-поле – окончательный вариант свободного перемещения в пространстве. Может быть, лишь тогда он и порассуждал сам с собой, как с собеседником, о бесцельности перемещения как о единственно правильном способе существования. Так, немного поразмышлял, в шутку даже, не утруждая себя глубокими умозаключениями. Так же как бы в шутку и получилось у него выйти на какую-то тропку, выведшую наконец и

на широкую дорогу. Он сориентировался и вернулся домой. Может быть, лишь на последнем мостике немного испугался: а ведь мог и на ночь остаться блуждать где-то в лесу. Такой вот выпрыгнул перед ним остаток, атавизм страха.

Дверь и окна в доме были распахнуты – кто-то хозяйничал в нем, занимался уборкой. Это была Анна.

– Еле вычислила, куда бы ты мог спрятаться, – сказала она, выходя на крыльцо. – Как ребенок.

Он улыбнулся – можно было и так назвать его состояние. Проведенные здесь дни, наверное, вернули его в детство больше, чем все прежние размышления.

Они обнялись, и Ронин действительно ощутил себя маленьким, как в детстве. Он оглянулся на угол, в котором утром вспомнил из детства маленького теленочка. Сейчас на том месте стояла белая сумка Анны.

Сели за стол. По комнате гулял свежий сквознячок. Анна говорила, не умолкая. О какой-то будущей выставке Ронина, о своих предстоящих гастролях, о том, как ей понравилось здесь, в деревне. И машинально переставляла на столе всякие привезенные вкусности.

«Словно приехала ко мне в больницу. Или в тюрьму», – подумал Ронин.

Он молчал, но слегка улыбался – потому что в глубине души не был расстроен приездом Анны. Даже наоборот. Хотя что – наоборот? Особенной радости он не испытывал. Просто ему было все равно. Анна ему не помешала – как можно

помешать тому, чего нет? А у него нет ни занятий, ни отдыха – он исчезает потихоньку даже для самого себя. Остатки души теплились где-то на самой глубине, а весь он, казалось, впадал в странное состояние, напоминающее зимний сон какого-нибудь зверька.

– Послушай, а баня у тебя есть? – спросила Анна. – Давай баню истопим – мне кажется, в этом столько прелести...

Ронин кивнул и вышел. Сосед как-то уговаривал его пользоваться своей баней и показал, где прячет ключ.

Он наносил воды, разжег печку. Сел на порог и стал смотреть, как через его голову переплывает и растворяется в овражке дым. С яблони упало яблоко. Ронин поднял его и положил рядом на порожек. Он смотрел на свой дом, на мелькающую среди взмывающих от сквозняка занавесок Анну. Казалось, они разговаривают на расстоянии – без слов, без мыслей, – и Ронин вдруг почувствовал, что эта связь становится все осязаемее, все крепче. Он поморщился, стараясь стряхнуть с себя почти забытое чувство, но это не удалось. Какой-то детский, из далекого времени возникший уют окружил его. Как дым. Как запах бани, яблок, старой травы. Он прикрыл глаза. Никуда не деться от желания счастья. И, если он даже поедет куда-то дальше, будет бесцельно перемещаться по земле – где-нибудь на берегу моря или глядя в окно поезда вспомнит о каком-нибудь прошлом счастье и пожалеет, наверное, себя со своим одиночеством, со своей свободой...

Баня истопилась быстро. Ронин разделся и вошел в горячий воздух. Обдал себя холодной водой и лег на полок. Прямо перед глазами были застывшие продольные жилы досок потолка, похожие на песчаное морское дно.

Как все необычно и... обычно, подумал Ронин. Он хотел найти противоположное по смыслу слово, но не нашел. И улыбнулся. Пусть будет так. Все можно объяснить, соединив одно слово с его противоположностью простым прибавлением «не». Этого достаточно – для самого себя. Ведь никому ничего не объясняешь и не доказываешь.

В предбаннике раздевалась Анна. Она вошла и ойкнула – от жары. В руке она держала яблоко. Ронин от удивления замер. Раньше он обязательно заметил бы в этом пошлость, будто увидел бы, как начинающий фотограф выстроил композицию: обнаженная с яблоком на фоне открытой двери, за которой – сад. Райские кущи. Но сейчас во всей этой картине была такая естественность, которую Ронин редко встречал в жизни.

Улыбнувшись, Анна надкусила яблоко и положила его на подоконник.

– Какой ты горячий и мокрый, – сказала она, когда Ронин подвинулся на полке.

Ее удивляла и радовала каждая мелочь – прищурившись и улыбаясь, она оглядывала все подробности. Слоистый пар, почти неподвижный в воздухе, запотевшее окно, надкусанное яблоко с капельками влаги, поддрагивающую поверхность

воды в широкой деревянной кадке.

Они молча лежали рядом, и Ронин думал, что это замкнутое пространство, тесно окруженное четырьмя стенами, вдруг оказалось в самом центре того мира, который он всегда ощущал вокруг себя, – в самом центре прожитой и будущей жизни. Время исчезло. Не остановилось, а исчезло. Ронин понял, как можно что-то ясно понять во сне, что сейчас вся его жизнь – от рождения и до смерти – здесь, в нем, рядом с ним, в границах четырех стен.

И, как когда-то в детстве, он ощутил прибавление к себе еще одного такого же существа, слияние с ним, словно освобожденные чувства с готовностью и облегчением перетекли из одного тесного сосуда в больший. Как вода. Как нагретый, спрессованный воздух.

Потом они лежали и Ронин слышал их общее, одинаковое дыхание. Где-то там, думал Ронин, в саду под легким ветром, движется и время, то затихая, то спохватываясь и догоняя себя, неслышно обтекая эти стены...

Словно проверяя свои ощущения, Ронин открыл одну за другой две двери – холодный воздух пронесся мимо него внутрь бани – показалось, что сквозь него, как сквозь пустоту.

Он закрыл дверь, услышав, как Анна позвала его, пошел к близкому роднику – в овражке. Посреди ила вырывался ключ, неостановимо поднимая бурунчик блестящих песчинок. Ронин напился, наклонившись к роднику, а Анне при-

нес воды в ковшике. И в бане они пили по очереди, и остатки воды, прижав к себе Анну, Ронин вылил на их лица сверху.

Возвращались они, когда уже застыл воздух, и солнце зашло, а небо еще вовсю светилось закатным светом.

– Как хочется спать, – прошептала Анна, – и жалко уснуть. А ты, наверное, хочешь есть? Принеси только еще воды... Давай не будем закрывать окна?

Она еще что-то шептала, уже обессиленно откинувшись на кровати, и Ронин не различал слов – ему казалось, что он слышит шелест листьев.

Когда он вернулся с водой, она уже спала, и уголки ее губ подрагивали в улыбке. Ронин прилег рядом и только успел накрыться одеялом, успел расслышать их двойной вздох и – исчез.

– Ты спал, как ребенок, – услышал он утром, щурясь от яркого света.

– А ты? – спросил он.

– Тоже. Мы спали, как дети. Мы вообще похожи.

«Да, похожи», – подумал Ронин и закрыл глаза. Два человека, живущие вместе, становятся похожи. Он вспомнил, как в детстве не мог понять, что его отец с матерью были когда-то чужими друг другу людьми. И маленькому Ронину казалось, что это он исправил ошибку, несправедливость прошлого. Родители стали родственниками. И конечно, похожими друг на друга.

На плите шипел чайник.

– Ты сам завари, хорошо? – сказала Анна.

Она знала, что Ронин не любил пить чай «чужой» заварки.

Он улыбнулся:

– Просто сделай покрепче.

Потом, когда отпил первый глоток, он пошутил:

– Вот, что называется, вложила душу. Кажется, что сам заваривал.

– У тебя с этим чаем почти человеческие отношения! – засмеялась Анна. – Каждое утро ты начинаешь с какого-то таинственного с ним общения. Неужели у меня получилось?

– Настроение чувствуется, – шутливо успокоил ее Ронин.

Странно – но он ни разу в жизни не пил чужого чаю, который бы по вкусу совпал с его ожиданием. «Ну разве не сумасшедший», – подумал Ронин, вспомнив об этом. Но ему понравилось сейчас, что Анна знает о таких его тайных странностях.

Когда они дошли до леса, Анна сказала:

– Ты так уверенно вышел на эту тропинку, что я сразу поняла, чем ты тут занимаешься.

– И чем же?

– Вот так и гуляешь. Целыми днями.

Ронин кивнул. Это поразительно, подумал он, как она его знает.

– Ты сказала, мы похожи, – повторил он. – А со стороны, мне кажется, мы напоминаем... Я – перекасти-поле, такую траву без корней, а ты – какой-нибудь холмик, к кото-

рому я прибился. Перенесся ветром, временем.

– Как к препятствию, да?

Ронин пожал плечами:

– Да нет. Какое препятствие? Я просто глупое какое-то сравнение придумал. Отвык разговаривать, даже думать. Правда – брожу здесь целыми днями, зачем, почему?

Он остановился, стал собирать сухие ветки для костра. С Анной не получится ходить так легко, бесцельно, как он уже привык здесь. Они будут разговаривать.

– Может, вернемся в Москву? – предложила она. – Ты пока не будешь работать, если еще не хочешь... не можешь. Я сама устрою выставку – ну, конечно, ты только отберешь работы... Нельзя же так... бесконечно.

Он внимательно посмотрел ей в глаза.

– Понимаешь, мне надо до конца... иссохнуть, раствориться. Мне надо выползти из этой надоевшей шкуры! – Ронин даже дернул на груди куртку. – Совсем недавно я понял, что моя настоящая жизнь только сейчас стала проявляться. В воспоминаниях. В воспоминаниях ожили мои чувства – впечатления, переживания, любовь, страхи... И я не жил, а вглядывался в свои чувства со стороны. Оказывается, я был болен с самого детства. Я все время смотрел, видел... снимки! Меня высосали все эти фотографии, высосали!

Последних слов он не ожидал от себя. Как это – высосали? Он даже наедине с собой об этом не думал. Придумалось. Первое, что пришло на ум. Как чужая прочитанная где-то

фразы. Ронин тяжело дышал, пытаясь успокоиться.

– Прости. – Он подрагивающими руками поднес спичку к костру. – Прямо истерика какая-то. Кризис возраста, кризис жанра – наверное, всему этому есть какое-то название, – попытался он улыбнуться, – не такой уж я редкий экземпляр. Пришло время, и задумался, засомневался. Как говорил твой профессор? Сороконожка, да? Которая задумалась о какой-то своей там ноге. А надо по пословице: глаза бояться, а руки делают. Все просто.

Не надо было вспоминать профессора. Заныло что-то в груди, запеклось – нерастворимый комок.

– И вот сейчас стараюсь быть обиженным, – пересиливая себя, проговорил Ронин. – Не сам виноват. Фотографии, болезнь, еще... кто-то.

Анна вздрогнула от этого «кто-то». Ронин хотел набрать воздуха, вздохнуть, освободиться от тяжести в груди – и не мог. Зачем он мучает ее? Ведь даже наедине с собой он так не выплескивал наружу эту словесную желчь, от которой стало противно. Слаб, слаб человек – мало ему знать свою болезнь. Обязательно надо и на другого человека ее взвалить – чтобы помучиться вместе. Надо молчать, подумал он. Хватит, хватит этих слов.

Анна побледнела. Она смотрела, не отрываясь, на разгорающееся пламя.

– Ну... побудь здесь. Тебе же здесь хорошо, – она почти шептала. – А потом вернешься. Или я еще приеду. Можно?

Ронин усмехнулся:

– Так много вариантов. Можно остаться, вернуться. И ты приезжай. Почему ты об этом спрашиваешь? Я только не понимаю, как можно меня терпеть?

– Я не терплю. Я хочу быть с тобой.

– Кажется, что много вариантов. Но все – одновременно. Я стал жить вне времени. Почти перестал его ощущать. Поэтому все можно. Жизнь все позволяет. Как я этого раньше не понимал? Шел, прыгая с кочки на кочку, боялся упасть. А надо было закрыть глаза и просто так брести. Плыть по воздуху. Оказывается, так можно.

С каждой фразой Ронин подбрасывал в костер сухие хворостинки, нашаривая их в траве, будто отсчитывая. Анна встревоженно вглядывалась в его лицо, не понимая, о чем он говорит. В ее глазах мелькнул испуг.

– Пойдем, покажешь мне свой лес, да?

– Вернемся. Не получается прогулка. Заговариваюсь. Не надо так много говорить.

Ронин вдруг почувствовал внутри себя такую пустоту, что даже испугался – не сможет сейчас подняться. С трудом он встал на ноги. Показалось, что ветер качнул его. Анна быстро взяла его под руку и оглянулась на костер. Ронин махнул рукой:

– А, ничего с ним не будет. Догорит. Как я. – Он улыбнулся.

– Что с тобой? Тебе плохо?

– Не знаю, – ответил Ронин. – Какая-то слабость. Впервые так... Все воплощается. Слова, чувства. Пойдем.

Анна тесно прижималась к нему на ходу.

– Сейчас поспишь, отдохнешь, и все пройдет. А я приготовлю обед. Ты же совсем ничего не ешь. Я посмотрела – ну никаких продуктов у тебя не было!

Ронин слабо улыбнулся. Как с маленьким, подумал он.

Просвет дороги на выходе из леса синел от дыма. За деревьями слышался странный треск, будто кто-то ломал сухие ветки. Зазвенело стекло. Что-то там горит, подумал Ронин и сразу же в подтверждение его догадки донесся далекий голос: «Пожар, пожар!» Оставив руку Анны, Ронин побежал вперед.

Его дом был наполовину охвачен огнем. Пламя гудело над крышей и, как жидкость, медленно расплывалось по стене. Из крайнего окна вырывался сноп огня – и вдруг лопнули остальные, освобожденные языки пламени вырвались с потоком искр. Казалось, внутри дома бушевало какое-то горящее чудовище, и его щупальца корчились, вытягивались вверх сквозь пустые окна.

Ронин рванулся к дому, но даже на большом расстоянии раскаленный жар ударил в лицо, остановил. Он отпрыгнул назад, к Анне, почему-то испугавшись за нее, обхватил за плечи, приговаривая: «Не бойся, не бойся, уже все – уже ничего нельзя сделать...» Она в немом ужасе прижала ладони к щекам.

Поодаль, у начала деревенской улицы, мельтешила группа местных. Перебегали с места на место, толкались. Звякали ведра, мелькали лопаты. Но люди не приближались к горящему дому – понимали, что бесполезно. Тем более что

остальные дома стояли далеко и пожар им не грозил. Один мужик только подбежал к бане – ближайшему строению, – вылил на ее стену ведро воды и махнул рукой. Ничего, мол, не загорится. Далеко.

– Вы хозяева, что ли? – крикнул этот мужик Ронину. – Чего загорелось-то?

Ронин пожал плечами. Мужик подошел ближе.

– Послали мы звонить пожарникам. Пускай приедут, хоть узнают. – Мужик заглядывал Ронину в лицо, наверное, удивляясь его спокойствию. – Хорошо изба стоит, далеко от всех. Мы смотрим – замок всегда. Значит, есть хозяева. Дача, что ли? Дача не дом, еще купишь – у нас продаются две избы. А что раньше не приезжали?

– Приезжали. Редко.

– Значит, не так она и нужна, дача-то.

Ронин кивнул. Уже не нужна.

– А как баня – не загорится? – спросил он.

– Не должна. Да мы посмотреть будем – если что, потушим.

Ронин с Анной обошли кругом горячий воздух, сели на порог бани.

– Ну, вы тут горевайте, а мы там, – мужик махнул рукой, – скоро пожарники приедут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.